

*Светлана Волкова*

## Великая любовь Оленьки Дьяковой

*Рассказ*

Перед парадным входом Мариинской женской гимназии, на расчерченных полузрелым апрельским солнцем квадратах, дымчатый голубь, чуть приподнимая крылья, преследовал миниатюрную голубку. Его подруга, то убыстряя, то нарочито замедляя шаг тонких ножек, петляла по пыльным булыжникам, и когда ей казалось, что кавалер отстает, поворачивала к нему аккуратную головку, удивленно косясь на преследователя маленьким круглым глазом. Голубь хорохорился, нагонял ее, но ничего более не происходило, он лишь раздувал перья на мощной шее, бликуя на солнце зеленовато-марганцовочным металлом, и старался на полшажочка все же держать дистанцию.

Оленька вздохнула и, посмотрев на голубку, прошептала:

— Любит он меня, девочки... Так сильно, как... Как...

Никакое сравнение на ум Оленьке не шло.

— Как Ромео? — подсказала черноглазая Маша Слуцкая.

Оленька задумалась, снова взглянула на голубицу и повела плечиками:

— Сильнее, девочки.

— И ты его?

— А уж я!..

Гимназистки стояли на дорожке, под высокой черемухой, едва тронутой желто-зелеными брызгами юной листвы, и, чуть наклонив головы в одинаковых шляпках, ловили каждое Оленькино слово. Оленька закрыла глаза, всем видом давая понять, что любовь ее настолько велика, что не может быть выражена никаким русским словом. Все молчали, ожидая, пока это слово все же отыщется.

— А ты впадала в разврат? — наконец полушепотом спросила Вера Шмидт.

Девочки разом ахнули и оглянулись по сторонам: не подслушивает ли классная дама или кто-то из педагогов. Но никого рядом не было, лишь дворник гладил метлой ступеньки крыльца, но был он от них на приличном расстоянии, да и не имел привычки вслушиваться в щебетание барышень, так как ровным счетом ничего в нем не понимал.

---

*Волкова Светлана Васильевна* родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Автор романа «Подсказок больше нет» (АСТ, 2015). Печаталась в журналах «Нева», «Октябрь» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Золотой цыпленок» (2017, № 9).

О разврате Оленька знала немного, но то, что знала, бредило ее беспокойную душу привкусом тайны, ощущением совершенного дерзкого шага от трепетного поцелуя к чему-то запретному, манящему, преступному. Само слово «разврат», сладкое, как бухарская халва, ассоциировалось исключительно с Ниной Кох, красавицей из выпускного класса гимназии. Ее историю девочки долго передавали друг другу шепотом, осторожно перекачивали под языком, с остротой и некоторой завистью в голосе, а сами подробности, дофантазированные и обрастающие каждый раз новыми, иногда нелепыми деталями, были самой обожаемой темой девичьих обсуждений. Прошлым летом Нина Кох, дочь уважаемого чиновника военного ведомства, прилежная гимназистка, умница, гордость гимназии, сбежала с актером Малого театра Милосердовым. И хоть потом беглянку скоренько вернули, скандала избежать не удалось. Оленька помнила Нину еще до ее отчисления — та ходила всегда молчаливая, гордая, осанистая, окруженная подругами, как свитой. Королева! И тот позор, которым, по словам классной дамы, она себя заклеимила, невыразимо шел ей, как может идти новое пальто с пелериной или нарядная беличья муфточка. Ах, как хотелось Оленьке хоть капельку быть причастной к той огромной, волшебной Ниночкиной тайне!

— ...Впадала, девочки! — полушепотом сказала Оленька. — Впадала в разврат!

Подруги уважительно охнули, завистливо глядя на Оленьку. Такт и воспитание не позволяли спросить что-то еще, и только Вера Шмидт придвинула к ней длинный нос и, сглотнув, процедила:

— Ну и как там?

— Где? — не поняла Оленька.

— В разврате.

Оленька выдержала мхатовскую паузу и, чуть прикрыв глаза, выдохнула:

— Ма-ни-фик!

Кто-то ойкнул, тихонечко, как хлебной крошкой подавился. Девочки с восхищением переглянулись, их круглые шляпки еще больше сузили кольцо вокруг рассказчицы. У Маши Слуцкой сам собой открылся рот. Оленька снисходительно поднесла палец к ее подбородку и Машин рот прикрыла.

«Сейчас придут в себя и подробности начнут выпрашивать, — подумала Оленька. — А я скажу, что тайна».

Никаких подробностей она и не знала, разве что из Нининой истории, но заимствовать боялась: разоблачат. Да и хотелось своих, именно *своих* подробностей.

— А ты сопротивлялась? — приставала настырная Шмидт.

— Конечно! — гордо дернула головой Оленька. — При разврате сопротивляться надо! — Подумала и весомо добавила: — Иначе моветон.

Она вспомнила картину Пуссена «Похищение сабинянок» из альбома отца: полуголые пышнотелые сабинянки простирают руки к небу, а красивые мускулистые мужчины несут их куда-то. Куда? В разврат, конечно.

И, без сомнения, сабинянки сопротивляются не особо сильно, а так, для соблюдения политеса.

— Он же выкрал меня! Я не рассказывала? — вдохновенная волна вновь захватила Оленьку, и потекла неспешно сказочная история, героиней которой была она сама.

В этой истории сошлись снежно-голубая зима и медвежья полость саней, и кучер в цилиндре, и дуга в алых ленточках. И она сама, легкая, покрасневшая на морозе, в шубке из черных соболей (непрененно черных — его, его подарок, потом цыгане украли), и звон круглых бубенцов, и поцелуи, застывающие на воздухе узорчатыми льдинками. А Петенька, в мундире Николаевского училища гвардейских юнкеров, до чего хорош, и церковка, где венчаться надумали, ну прямо с открытки: маковка золотая, двери и оконца расписные, настезь, настезь! К самому действию и нагнал их папенька, вернул беглянку силой в дом, а по Петенькину душу разговор имел

с попечителем, тот не верил сперва, ведь Петенька должен был училище с «золотым шрифтом» кончить, но ведь, девочки мои, любовь, любовь, да.

— Помните, отсутствовала я на занятиях зимой, две с лишком недели, — как бы в доказательство своего побега, срываясь с тихого шепота на громкий, говорила Оленька. — Так это под домашним арестом была. Папенька не изволили выпускать никуда, Дуню, служанку, приставили.

Оленька многозначительно обвела подружек переливчатым взглядом. Она действительно не ходила в гимназию половину февраля из-за жестокой ангины, а когда появилась на занятиях, была бледной, слабой, большей частью молчала, потому как доктор советовал беречь связки «пуще зеницы».

— Врала я вам, что болела, — продолжала Оленька. — А и болела ведь — душою, сердеченком, и мерехлюндия у меня была тяжелая, так что порошки специальные пила. Дабы не умереть от горя.

— А что с Петенькой твоим стало? — подала голос Маша Слуцкая.

— Сослали его, — вздохнула Оленька, пытаясь на ходу додумать финал.

— Куда?

— Куда-куда! На Кавказ, конечно!

Кавказ, в понимании Оленьки, был единственным местом, достойным для ссылки ее героя. Чтобы как у Лермонтова было. Чтобы серьезно и трагично.

— Так я не уразумела, — снова вклинилась в разыгрываемую драму Вера Шмидт. — А разврат-то когда был, если вы до церкви не успели доехать?

— Ну что ты за зануда такая! — вспыхнула Оленька. — В саночках и был!

Девочки разом охнули — но Оленька приложила пальчик к губам: никаких подробностей!

В воздухе вдруг стало электрически-напряженно, будто на сеансе опытов по физике, и, качнувшись, над Оленькой нависла тень от шляпы классной англичанки миссис Доррет.

— Что за собрание? Вас не ждут дома? — ее английский вне стен гимназии всегда почему-то звучал гнусавее, чем в классе.

Девочки разом сделали мелкий книксен и, заговорщицки посмотрев на Оленьку, мигом рассыпались-растеклись в разных направлениях.

— Вас, мисс Дьякова, тоже касается.

Оленька, раздосадованная прерванным спектаклем, пропела: «Йес-мэ-дэм» и, выпрямив по-балетному спину, зашагала прочь со двора.

\* \* \*

В свои шестнадцать Оленька Дьякова была миловидной, хрупкой, с нежным природным румянцем, растушеванным полумесяцем от крыльев носа до мочек аккуратных фарфоровых ушей, и пшенкой веснушек на пухлых щеках. Гимназию она не любила, да и за что ее любить — вставать надо рано, не дай бог опоздаешь на закон Божий, уроки опять же учить, одна латынь чего стоит и английский этот. Ладно бы французский, француженка хотя бы не такая вредная, как эта миссис Доррет, но английский-то зачем в жизни нужен? В замужестве вот совсем не пригодится.

Только лишь шаловливая мысль касалась замужества, как Оленька сразу чувствовала, что начинают гореть уши, да так сильно, хоть студеное прикладывай. И все прочие мысли, разогнавшиеся было бодрым галопом в ее голове, разом останавливались, подобно упряжной тройке, повинующейся руке умелого возницы: тпруу! и пыль из-под копыт! — и где они, мысли-то? Нет их, как ни зови. Только *замужество* и разливалось по всем закоулкам-трещинкам, заполняло голову, выдавливало все лишнее, чтобы думалось бедняжке только о нем одном.

Но хотелось неизменно большего, нежели то, что она видела у знакомых супружеских пар. Никакой романтики, один мышастый быт. Взять хотя бы старшую

сестрицу с муженьком. Ведь муженек-то, Игнатушка, когда женился, ходил гоголем, раскрасавец писанный, в театры и концерты сестрицу водил: сам в черном, без единой пылинки, смокинге, в сиянии белого крахмального пластрона, столичный денди! И сестра Катя в зеленом платье, с фамильной брошкой у горла, во французской маленькой шляпке с лентой — королевишна, как нянюшка выразилась, и точно — иное слово Оленьке на ум и не приходило. А как романсы пели на два голоса за ужином, слушаешь — заслушаешься, любишься — не налюбишься! И по саду гуляли, ручка об ручку, ну пастораль, да и только!

И что с ними стало теперь, спустя всего три года после свадьбы? Игнатушка отрастил брюшко и бакенбарды, уже давно вышедшие из моды, театры-концерты позабросил, завел живорыбное хозяйство у Тучковой набережной и — матушка сказывала — пропадает до ночи в своей конторке, точно мелкий купчик. А Катя целыми днями бродит сонной мухой по дому, потягивает чаек с пряниками по десять раз за вечерок да сплетничает обо всем и обо всех с первым же подвернувшимся гостем-слушателем. Тоска!

И если бы только с сестрицей так — со всеми же знакомыми, кого ни возьми! Оленька вот тоже полюбит какого-нибудь, к примеру, красавца-гвардейца, а после свадьбы тот выйдет в отставку, превратится в грузного дяденьку с лицом цвета вестфальской ветчины, повадится непременно ходить по дому в халате и с сеточкой на волосах, а ночью спать, не шевелясь, со специальными зажимами на усах — «для придания оным должного угла загиба», как пишут в газетной рекламе, — что может быть гаже! Да и сама она, хрупкий папенькин цветок, поскучнеет, приспустит на щеку острую «испанскую» спираль волос, начнет пудрить увядающую кожу японской цинковой пудрой, обсуждать наряды соседок и критиковать молодых девиц — ой, ужас, ужас! — лучше и думать об этом не начинать! Ежели все так заканчивается, не надобно никакого замужества!

Каждый раз, доходя в мыслях до места «тихого обывательского счастья», Оленька грустнела и запрещала себе думать о мужчинах вообще. Но лишь стоило ей выйти на улицу и увидеть кого-нибудь — хоть военного, хоть студента, — как сердечко начинало биться чаще, щеки пылать, а глаза опускались сами собой вниз, на носки туфелек, так что пару раз бывало, она натыкалась на столб или афишную тумбу.

Именно из-за этого Оленька и любила гулять по дорожкам Смоленского кладбища, где в тени высоких тополей можно было, не встретив никого, спокойно подумать о сокровенном, без суеты и необходимости «держать лицо», присесть на аккуратную скамью, открыть томик стихов Надсона или Брюсова и влечь помечтать о невозможном — о своем Лээнгрине, Тристане или Сиде, о рыцарях ушедших эпох и о великой, чистой и страстной любви.

На кладбище было совсем не страшно, нет, напротив, близость холодных могильных плит, глянец полированного мрамора и запредельная тишина приносили Оленьке какое-то высокое успокоение. Хотелось прикоснуться рукой к любому из крестов, минутку подумать о чем-нибудь возвышенном — о духе бренности всего сущего, к примеру, — и на душе становилось удивительно хорошо. Оленька даже всплакнула над чьим-то памятником — чьим, не запомнила — уж больно настроение тогда способствовало слезам и размышлениям о неминуемой смерти.

И однажды, в середине апреля, в чистый четверг, бродя в отдаленном уголке кладбища, Оленька увидела «свежий» памятник. Плачущий ангел с полуопущенными крыльями обнимал каменный крест. Живые белые цветы на черной мраморной плите, кудрявая ветка ивы, склонившаяся к могиле и плачущая, казалось, в унисон с ангелом, тонкая вязь оградки — вся эта картина заставила Оленьку едва ли не задохнуться от нахлынувшего нового чувства, самой же выпестованного. Надпись на полированной табличке гласила:

Дорогому сыну от безутешных родителей. Скорбим. Помним.

Пётр Воскобойников

06/1893 — 10/1912.

Оленька несколько раз перечитала надпись.

...Петр Воскобойников умер в октябре прошлого года, и было ему от роду девятнадцать лет...

Истории невесомой поземкой сами собой закружились в Оленькиной голове. Кем он был? Как он жил? Как получилось, что небеса позволили умереть такому молодому человеку?

О том, как он выглядел при жизни, Оленька думала ровно минуту. Сомнений не было: Пётр Воскобойников, а как иначе, был стройным красавцем с бледной кожей, большими глазами цвета серого гранита, темными, почти черными, волосами, длинными пальцами и тонкой поэтической душой. Иллюстрации к «Юному Вертеру» вполне могли копировать с него. Происходил Пётр — к третьей минуте дум о нем уже Петенька — непременно из хорошей приличной семьи древнего обедневшего дворянского рода... Тут Оленька взглянула на каменного ангела с опущенными на крест крылами... — Нет, пожалуй, *слегка* обедневшей, но род этот корнями тянется... Оленька напряженно вспоминала уроки родной истории... К Рюрикам... Ах, нет, те кровопийцы были... Пусть к какому-нибудь другому загадочному имени. К черногорским князьям... Да-да! Именно к черногорским!

...Она и сама не заметила, как все лицо ее стало мокрым от слез. Такой прекрасный Петенька, будущий... ах, конечно же, блестящий офицер... такой юный, не вкусивший... ах, ничего еще не успевший вкусить!..

Той ночью Оленьке не спалось. Снился Петенька, и как они гуляют вдвоем по аллеям Смоленского кладбища, и птицы поют тоненько, и сирень с черемухой в цвету. А то, что могилки вокруг, так совсем не мешает, а наоборот, такой чудесный фон создают — на фоне этом Петенькины стихи, что он Оленьке вслух читает, звучат сильнее, трагичнее, значимей...

Наутро, отстояв с родителями службу в храме и втихаря справив о Петеньке молитву, Оленька побежала на кладбище. Гулять — «полуденно прогуливаться», как говорила нянюшка, — ей разрешалось без провожатых уже год, а и кто бы возразил, папенька современных нравов, да и двадцатый век на дворе. С центральной кладбищенской аллеи она сразу свернула в нужную боковую и уже не шла — бежала по ней, на ходу разрывая ногтями узелок от шляпной ленты, ставший вдруг тугим под подбородком; долетев до ангела с крестом, бросилась на каменную плиту и зарыдала в голос.

— Петенька, как же так? Как же так? Как же так?!

Весенние пичуги вторили ей где-то в ветках тополей: «Цьют, цьют... Как же так!» Точно забивали серебряные гвоздики в ее собственный воображаемый крест.

И все последующие дни посетители Смоленского кладбища наблюдали душераздирающую картину: по аллее спешит к отдаленной могилке юная дева в черной шали, хрупкая и невесомая, и сердца их плакали при виде ее.

Оленькина жизнь приобрела с появлением незнакомого усопшего Петеньки Воскобойникова новый смысл. Теперь ежедневно после гимназических занятий она наскоро обедала дома, надевала для усмирения бдительного глаза домочадцев привычную пюсовую юбку, коричневый бархатный жакет с жестким воротником, шляпку с поднятыми полями, а в любимую гобеленовую сумочку клала свернутую тонкую черную шаль. Минут двадцать она шла по Васильевскому острову, где жили Дьяковы, приветливо здороваясь со знакомыми и улыбаясь, а как сворачивала с

Семнадцатой линии на набережную Карповки, навстречу бело-желтым воротам Смоленского кладбища, так в секунду мрачнела, бледнела, накидывала на плечи вынутую из сумочки шаль и, не сдерживая катившихся по щекам слез, спешила к знакомому кресту с крылатым ангелом. Там уже падала ниц, как профессиональная плакальщица, и рыдала в усладу, пока запас слез не кончался. К неизменному «Как же так!» теперь прибавилось «Как же я без тебя?» И Оленька была в своем горе так искренна, так трогательно правдоподобна, что два служителя кладбища, наблюдавшие ежедневно сцены ее вселенской скорби, пару раз не выдерживали, осторожно подходили к ней и участливо предлагали срочно позвать к барышне жившего неподалеку доктора или, на крайний случай, проводить бедняжку до извозчика. Оленька мотала головой, глотая слезы, потом враз переставала стенать, подымалась и, заправив под шляпку выбившиеся пряди светлых волос, шла с кладбища прочь: спина прямая, осанка гордая, ах, ах, видела бы классная дама!

Тайна, ее собственная великая тайна, без которой Оленька не мыслила уже своего существования, приносила ей невыразимое наслаждение. День за днем сам собой тщательно вырисовывался, вычеканивался в ее голове Петенька, и вся его жизнь, и привычки, и даже милые недостатки. Он был для Оленьки *настоящий* — такой настоящий, как если бы она росла вместе с ним и распрощалась только что, буквально вчерашним вечером.

Все вокруг казалось теперь такой пресной обыденностью, граничащей с обывательской пошлостью, что появление в ее жизни Петеньки Оленька расценила как благословенный знак.

Но вот причина Петенькиной смерти никак не выкристаллизовывалась в Оленькиной голове. Очень хотелось, чтобы Петенька умер из-за нее, Оленьки, и чтобы непременно это была старомодная дуэль — из ревности, конечно. Или из-за случайной фразы, которую соперник, не думая, бросил в сторону Оленьки, а Петенька счел оскорблением. Так, кажется, было у Пушкина с Дантесом... Или нет. Оленька даже пыталась прочесть взятые из папенькиной библиотеки книги про дуэли, но чтение не шло, и ей приходилось все додумывать самой.

Немалую часть этих фантазий занимал эпизод будущего объяснения с подругами по гимназии. Оленька представляла это так.

... Она отсутствует в гимназии несколько дней (можно на эти дни уговорить мамушку вместе съездить к тетке в Псков).

... Она приходит в класс вся в черном, вопреки правилам (гимназисткам позволялся семейный траур).

... Она слушает урок отстраненно, потом неожиданно вздыхает и падает в обморок.

... И уже потом, по страшному секрету, рассказывает девочкам, что виновата в смерти возлюбленного.

Но в этой истории была масса недостатков. Во-первых, облачиться в траур, чтобы домашние, особенно нянюшка, не заметили и не начали приставать с вопросами, было категорически невозможно.

Во-вторых, классная дама в тот же день придет за папенькой или, того хуже, нагрянет сама на квартиру к Дьяковым побеседовать о состоянии Оленьки. Вот родители удивятся-то!

И в-третьих, любопытные девочки, особенно эта длинноносая Вера Шмидт, уж непременно выведают про кладбище и, чего доброго, увяжутся за ней. А там же на могиле дата смерти — прошлый год. Что же, получается, Оленька была не в курсе всего происходящего? Или же до нее все доходит, как до медведицы в спячке, — через полгода?

Оленька даже как-то подумала, что хорошо бы исправить дату смерти на табличке на весну тринадцатого года. Но тут же мысли этой устыдилась: грех, грех...

Так история с Петенькой мертвым, как ей хотелось бы подать ее подругам, сама собой расплзлась по швам.

Тогда и возникла история с Петенькой живым.

И сразу как будто легче стало. Он все равно ведь теперь есть у нее, а то что мертвый, так от этого образ Петеньки делался еще романтичней.

Продумывая детали *великой любви* Оленька успокоилась, перестала ежедневно приходить на кладбище, но все же взяла себе за правило бывать на могиле по четвергам и вторникам — как раз тогда, когда занятия в гимназии заканчивались на час раньше, чем в иные дни. Приходила всегда с одним цветком и непременно, в дань традиции, позволяла себе тихонечко всплакнуть. К привычке этой сама собой прибавилась другая: домысливать события дня, прожитые с Петенькой. А события эти были удивительными — Оленька каталась с ним на каруселях в Адмиралтейском саду, ходила в синемаграф на Мозжухина и в Александринку на Савину, после же непременно лакомилась мороженым и булочками с кремом, а однажды Петенька водил ее в знаменитый ресторан «Талон», где они ели страсбургский пирог с гусиной печенью и запивали «Вдовой Клико», и обратно ехали до дома на таксомоторе. Эта была удивительная, яркая, до деталей придуманная и продуманная жизнь, которой Оленька гордилась, и была искренне благодарна Петеньке за то, что она, эта жизнь, у нее есть. А вместе с ней есть он, Петенька, — такой милый, добрый, внимательный и романтичный — а хотя бы и неживой.

\* \* \*

На уроке английского на стол Оленьки прилетела свернутая тонкой сигареткой записка:

«Есть ли вести от Петра?»

Оленька даже не поняла сначала, от какого такого Петра. Но потом зарделась брусничным румянцем и посмотрела по сторонам. Маша Слуцкая, сидящая через проход от нее, едва заметно кивнула.

Прошла неделя с момента разговора о несостоявшемся венчании, но Оленька любопытство девочек никак не подпитывала: ходила гордая, молчаливая, полувзмахом ресниц призывая подруг быть деликатными к бережно хранимой тайне. Артистизма хватало с лихвой, да Оленька и не задумывалась о том, чтобы *играть*. Он, ее обожаемый Петенька, был всегда рядом, в мыслях и сердце. А то, что сослали его на Кавказ, ну это же жизнь, подруженьки мои, и в ней, жизни, всякое бывает, не все сладко, как в романах. Талантливо проживая каждый день и доверяя сокровенные мысли лишь дневнику, тщательно оберегаемому от посторонних глаз, Оленька эпизод кавказской ссылки предъявила подругам, дабы те не донимали ее вопросами, где, мол, жених, сама же о ней не думала вовсе.

Петенька к этому моменту занимал Оленькину голову уже целиком, и, казалось, даже вне головы был рядом, в воздухе, курился вокруг Оленьки неким зеленоватым свечением, так что она не на шутку опасалась, что домочадцы его обнаружат.

С самого начала урока Оленька обдумывала детали их с Петенькой похода на модного комика Константина Варламова, «дядю Костю», как все его звали. Летний театр, белые колонны эстрады, чудный Павловский парк! Ах, Петенька до чего хорош в мундире — красные лацканы, пуговицы блестят, кивер с николаевской гвардейской звездой! А она сама, в белом платье с воротничком-матроской, развевающимся парусом за спиной, — это же белый флаг, Петенька, я капитулирую, капитулирую! И поцелуй — в сотый раз «первый», который виделся ежедневно с новых ракурсов, — сладок, томителен, чуден. Жаль, девочкам не рассказать!

Оленька обмакнула перо в пузатую чернильницу.

«Шлет письма часто, через доверенных лиц», — мелко написала она на записке, — «любит, страдает».

Записочка прошла несколько пар девичьих рук и легла в ладонь Маши. Пальчики вспорхнули, задвигались, разворачивая рулончик-сигаретку, затем, как по клавишам, быстро пробежали по строчкам. Маша чуть заметно кивнула Оленьке: мол, понимаю. Вера Шмидт, сидевшая рядом, тоже прочитала послание и заговорщицки прикрыла веки. Оленька в ответ сделала суровое личико и приложила палец к губам: тсс, тайна.

— Что происходит в классе? Мисс Дьякова, о чем мы сейчас говорили?

Оленька вздрогнула. Прямо перед ее глазами на сдавленном корсетом крейсерном бюсте миссис Доррет качался лорнет на длинный цепочке. Лицо же англичанки снизу показалось еще огромнее, чем обычно.

— Прошу простить, мэдам, я... я... — пробормотала она, поспешно вставая и подыскивая точные английские слова. — Мы говорили о Марии Стюарт...

Миссис Доррет поднесла лорнет к носу, проткнула Оленьку насквозь льдистым взглядом и, тяжело вздохнув, будто и ей самой тоже смертельно скучно в классе, продолжила урок.

\* \* \*

Любовь изменила Оленьку. Она стала скучна в беседах с домашними, постоянно стремилась к уединению, отказывалась от воскресных прогулок в привычной компании, состоящей из дочек папенькиных компаньонов, и непременно делала обезьянью гримаску, когда ей сообщали, что к обеду прибудет господин Н. с сыновьями Константином и Владимиром или господин М. с племянником Саввой. В столовую она все же спускалась, была любезна с господами Н. и М., но подчеркнуто холодна и неразговорчива с их отпрысками, своими ровесниками.

«Тебе не идет жеманство, Ольга», — каждый раз говорила ей матушка, но Оленька лишь пожимала плечами и норовила ухватиться за первый удобный повод, чтобы откланяться и уйти к себе.

Четверги и вторники были для нее по-прежнему отдушиной. Она шла на Смоленское кладбище, как на свидание, но уже не рыдала, распластавшись на могильной плите, а присаживалась на скамеечку рядом и, поохав, как старушка, говорила с Петенькой, как с живым.

— Вот, голубочек ты мой, а на «Юдифь» с Шаляпиным ты должен непременно сводить меня после Троицы. И еще я хочу на «Девушку с мышкой». А если тебе захочется, то можем в Ботанический сад. Говорили, там цветочек водяной прижился, Виктория Регия называется, невероятной красоты, вот-вот зацвететь должен. А не хочешь в сад, мы в Гатчину поедем, ты меня на лодочке покатаешь. У тебя есть деньги на таксомотор? Если нет, ты не стесняйся, скажи. Я не позволю, чтобы ты из-за меня в стеснениях был. Ах, право, твой подарок давешний так мне мил, так мне мил! Это же настоящее французское кружево, ах, ты понимаешь толк в изяшных вещах! А позапрошлый твой подарок, китайскую фарфоровую собачку, я поставила на столик в спальне и смотрю на моську каждый раз, как засыпаю и просыпаюсь. А вот тебе еще сон свой расскажу...

Монолог ее длился обычно минут десять. После она вставала, кланялась зачехотанной Петеньке и с чувством выполненного долга уходила прочь.

Шла вторая неделя июня, и так случилось, что четверг был занят именинами папеньки и визит к Петеньке пришлось отменить. Но, верная своей выпестованной привычке, на следующий день, в пятницу, Оленька пришла на кладбище.

Но лишь она ступила на аллею, как предчувствие чего-то... непонятно чего, но неприятного, оскоминой осело в горле. И ведь не ошиблась: едва свернула на



знакомую дорожку, как заметила тонкую фигурку в черном платье с траурной накидкой на плечах. Оленьку возмутило само присутствие чужой барышни на могиле *ее* Петеньки, но хуже всего ранило то, что незнакомая девушка лежала на Петенькиной могиле, как умирающий лебедь у Сен-Санса, — руки вперед, голова где-то под мышкой, острые плечи подняты — и сотрясалась в рыданиях. Точь-в-точь, как еще недавно сама Оленька.

Кто она? Может быть, сестра? Но эпитафия гласила: «От безутешных родителей». Никого упоминания сестры! Спрятавшись за тополем у одной из соседних могил, Оленька осторожно наблюдала за ней. Девушка иногда прерывала плач, подносила изящную руку с кружевным платком к выгравированному на камне имени, гладила рельефные буквы и снова, как если бы кто-то заново завел в ней механизм, начинала реветь, выдавая богатую звуковую палитру: от высокого подскуливания до низкого подвывания.

Минут через пять она поднялась, отрянула подол тяжелой жаккардовой юбки и, выпрямившись, зашагала по аллее к выходу. Оленька к неудовольствию своему отметила, что барышня мила, даже красива. Белая кожа, брови-ласточки вразлет, большие темные глаза, полуприкрытые модной, в крупных круглых мушках, коротенькой вуалью на шляпке, и длинная скульптурная шея в пене кружевного жабо. Поверх черных атласных перчаток был надет тонкий жемчужный браслет, что матушка сочла бы пошлым, но Оленька про себя отметила, что завтра непременно же наденет именно жемчужный браслет, и именно подобным образом. Ведь, вполне возможно, это нравилась Петеньке...

«Как же так?» — пропела птаха в ивовой кучерявой гриве.

«Как же так?» — вновь подумала Оленька, обращаясь мысленно к Петеньке. Но теперь ее привычное «Как же так» окрасилось совсем иным горьковатым подтекстом: «Как же так, Петенька, как же так?! Ты не со мной? Ты с ней???»

Оленька уже готова была записать любимого в изменники, но незнакомка в ту минуту полностью завладела ее мыслями, и Оленька решила, что успеет еще пожурить Петеньку за непостоянство. Взгляд же от барышни было не оторвать. Она плыла мимо крестов и надгробий, и бедра ее почти не колыхались, будто под юбкой были не ножки, а колесики. Оленька невольно восхитилась такой походкой, и острая булавка ревности вновь больно кольнула ее под самое сердце. Иногда незнакомка приподнимала край юбки, показывая узкую ножку в аккуратной туфельке, легко перепрыгивала через редкие лужицы, грациозно выгибалась назад — посмотреть, не намочился ли подол, и, вернув гибкое тело в вертикальное положение, катилась на своих колесиках дальше. И было в этом движении столько лебединого изящества, женственности, «взрослости», что Оленьку царапнула постыдная зеленушная зависть.

Так, незаметно для себя самой, следуя за незнакомкой на расстоянии, она дошла до Симанской улицы. У подъезда углового дома, выходящего фасадом на Шкиперский проток, барышня остановилась, сняла с плеч траурную шаль, повесила ее на руку и позвонила в колокольчик. Открыла толстая горничная в длинном белом фартуке, всплеснула голыми слобными руками, неуклюже втиснулась в дверной косяк, пропуская девушку.

Когда дверь закрылась, Оленька подождала немного и осторожно, почти на цыпочках, подошла к дому. Прямо под колокольчиком висела громоздкая золоченая табличка «*Зубоврачебный кабинет доктора Пелеха*».

«Искрошила зубы от горя, идет вставлять фарфоровые!» — ехидно подумала Оленька, но мысль о том, что незнакомка — пациентка, сразу была отменена. Это понималось и по поведению встретившей ее горничной, и по тому, как царственно и молчаливо девушка вплыла в дом. В свой дом, сомнений не оставалось.

Как же так, как же так?! Значит, все-таки невеста! И не бедная, судя по всему, раз живет, хоть и не на парадном Большом проспекте, а в тихой улочке, но семья

занимает весь бельэтаж. Оленька развернулась и еще раз прошла мимо дома, съедаемая ядовитой смесью любопытства и ревности.

Дочь зубодера! Ах, Петенька не мог, нет-нет, не мог ее любить! Мысли прыгали в Оленькиной голове, истории сменялись, как в калейдоскопе, одна другой безобразнее, вертелись, как огненные шутихи, пылали и мучили. Барышня уже не казалась образом изящества и женственности, и даже красавицей больше не мыслилась.

«Какой пошлый браслетик поверх перчатки!» — думалось теперь Оленьке, и все вокруг обернулось пошлым — и дом на углу Симанской и Шкиперского, и походка незнакомки, и ее шаль, и весь белый свет. Проходя мимо распахнутых окон одного из домов, Оленька услышала патефон, «Пупсика» — модную песенку, прилипчивую и сладкую, которую распевали везде и всюду, и спасу от ее навязчивой мелодии не было.

Когда я был ребенок,  
Я был ужасный плут,  
Меня еще с пеленок  
Все пупсиком зовут:  
Пупсик, мой милый пупсик...

Оленька закрыла уши руками. Пошлость, какая пошлость! Только Петенька и оставался чистым и прекрасным, а эта хищная птица — незнакомая барышня, дочь зубного врача, хотела замарать его одним фактом своей любви!

Добравшись до своего дома, Оленька бросилась на кровать в своей комнате и зарыдала. Сбежались домашние, но ответа, что стряслось, так от нее и не добились. Папенька же решил, что непременно надо отослать дочь в деревню, к родне, справил наскоро телеграмму и велел собираться через два дня в дорогу.

\* \* \*

Две недели, проведенные в Псковской губернии, Оленька промучилась ревностью, иссушившей и полностью измучившей ее. К своему же возвращению в Петербург мнение относительно зубной барышни она переменила. Что ж, какая ни на есть, но та знала Петеньку живым, и коли он с ней общался, значит не совсем она натурой была дурна, думалось Оленьке, и мысли эти приносили какой-никакой покой мятежной душе. Пусть так, пусть! Ничего же исправить уже нельзя! Признав перед образом в церкви, что была несправедлива к сопернице, Оленька побежала на кладбище, где клятвенно пообещала Петеньке не обижать мыслями дурными его подругу.

Но с этого-то момента и поселилась в ней неугомонная идея с барышней той познакомиться. Отчего бы и нет? Надо только придумать, мол, знала она когда-то его, через общих знакомых, а как судьба сложилась, ей неведомо, да и тех знакомых не спросить — давно из столицы уехали...

Только как на разговор-то барышню выманить? Не подкараулишь же ее на улице и вот так, не будучи представленной, не спросишь, мол, отчего умер знакомец ваш, молодой господин Воскобойников, да не расскажете ли, каков он был при жизни, и не покажете ли его карточку, ведь наверняка имеете?

Оленька извелась вся, и так прикидывая, и эдак, пока не пришла ей в голову мысль притвориться, будто зуб болит. Папенька подивился, что дочь наотрез отказалась ехать к семейному лекарю, — да что за напасть-то такая, кто-то посоветовал неизвестного врача, благо кабинет неподалеку, но каков он врачеватель, никто не знает, а и спорить с Ольгой бесполезно — сразу в слезы, трудный, трудный возраст. Папенька побурчал, но согласился отправить ее к доктору Пелеху в сопровождении нянюшки.

— Ну-с, — промурлыкал доктор Пелех, улыбаясь в жиденькую бородку-клинышек. — Давайте-ка посмотрим-с. Что вас беспокоит?

Кабинет внушал Оленьке неподдельный ужас: белые застекленные шкафы со склянками, ступками, фарфоровыми баночками; стол, покрытый толстым бумажным листом, на нем — блестящие крючковатые инструменты, похожие одновременно на обломанные столовые приборы и на нянюшкины вязальные крючки; гигантская гипсовая челюсть и два медицинских плаката на стене, изображавших что-то зловеще-зубастое; сестра-ассистентка непонятного возраста в белоснежном платке, повязанном на монашеский манер, с мучным безразличным лицом и белесыми пальцами; в пальцах этих цепким хватом зажата кювета-полумесяц с нарезанными бинтовыми квадратиками и ватными тампонами. Но главное — бормашина: высокая железная стойка с двумя толстыми маховыми колесами, чуть больше зингеровских, с крючковатыми хромовыми рычажками, круглой фаянсовой плевательницей и тонкой металлической конечностью богомола, неестественно выгнутой в колене-локте и застывшей в нескольких дюймах от кресла, в котором, пригвожденная липким страхом, сидела Оленька.

— Сейчас уже ничего, доктор. Все прошло... — она подняла голову с кожаного подголовника и покосилась на пыточный агрегат.

— Откройте-с шире рот, барышня, — медово произнес доктор и нацелился на Оленьку железной загогулиной. Яйцевидное пенсне блеснуло и придвинулось к ней почти вплотную. Оленька зажмурилась и открыла рот.

Все тщательно продуманные дома фразы мигом выветрились из головы, и она, набрав в легкие воздуха через нос, выплюнула изо рта чужеродный инструмент и выпалила:

— Господин доктор, у вас есть дочь?

Доктор Пелех, ожидавший от пациентки чего угодно — кусания, брыкания, воплей, визга, только не подобного вопроса, несколько удивленно произнес:

— Две.

— Как две? — глаза Оленьки наполнились отчаянием.

— Да вот так, — доктор пожал плечами, будто извинялся за то, что не родил сыновей. И, чтобы успокоить странную посетительницу, ласково добавил: — Старшая Настюша и младшая Верочка.

— А лет им? — выдохнула Оленька.

— ...Настюше осмнадцатый, а Верочке шесть...

Все оказалось значительно проще, чем она предполагала. Можно было и не залезать в это страшное кресло!

Оленька сорвала с груди накрахмаленную салфетку и, извинившись, сделала рывок к двери.

— Куда вы, барышня! Я не закончил осмотр!

Но Оленька уже влетела в приемную и, схватив под локоть ожидавшую ее нянюшку, устремилась к выходу.

В тот же вечер было раз сто обдумано и почти столько же переписано набело коротенькое письмецо:

Анастасии Пелех (лично)

Анастасия, мы не знакомы, но я видела Вас на Смоленском кладбище у могилы Петра Воскобойникова. Прошу Вас милостивейше сообразовоить прийти в пятницу в мармеладную лавку у главного входа в Андреевский рынок. Я буду ждать Вас там около часу пополудни. Мне необходимо поговорить с Вами о Петре.

С почтением,

Ольга Дьякова

PS. Прошу Вас быть без вуали. Я узнаю Вас сама.

Нянюшке Оленька письмо доверить не решилась (возникнет миллион вопросов), и в дом на Симанской улице послала горничную Дуню.

Ко встрече с соперницей Оленька готовилась тщательно. Проговаривала перед зеркалом реплики и тренировала участливую полуулыбку, репетировала неспешную походку и гордый благородный взгляд — да знала: без толку, и как только она увидит барышню Пелех, все вылетит из головы.

В пятницу Оленька встала в семь утра — дольше оставаться в кровати не было сил, после завтрака часа три слонялась по дому, пытаясь унять маяту, а как пробило полдень, нацедила себе спасительных капель валерьянки в чашку и кивнула отражению в зеркале: пора. Оделась скромно, но подчеркнуто элегантно: в белую блузу, длинную светло-серую юбку с медной пряжкой на широком бархатном поясе, у матушки же взяла без спросу шляпку с голубым пером сизоворонки, еще раз взглянула в зеркало и осталась довольна: лицо благородно-бледное, как после чахотки, под глазами голубоватые разводы от бессонной ночи, нежные губы цвета пепельной розы. Девушка декаданса!

Оленька увидела соперницу сразу. Она шла вдоль по Большому проспекту мимо рынка — не шла, плыла, конечно же, как тогда, на кладбище, — плыла в прежнем своем черном одеянии через ярмарочную суету и сутолоку... И была прекрасна. Так прекрасна, как врубелевская «Царевна-лебедь» с недавней выставки! Но лебедь — черная.

Оленька, прятавшаяся до той минуты за пирамидками марципана в витрине кондитерской лавки, выпорхнула из дверей и устремилась ей навстречу. Все тщательно отрепетированное дома перед зеркалом — и царственная походка, и величественная грация движений, и благородная полуулыбка, и естественная, нежеманная невинность во взмахе ресниц — все испарилось в тот самый миг, как только барышня Пелех появилась на площади.

— Анастасия? — с трудом сдерживая волнение, выдохнула Оленька.

— Настя. Зовите меня просто Настя. Здравствуйте!

Голос ее был легкий, перламутровый, будто перебирались крохотные сувенирные колокольчики. Оленька картонно улыбнулась.

Они вошли в летнее кафе при мармеладной лавке и заказали по чашке шоколаду. Посетителей было мало, несмотря на пятничную базарную суету возле Андреевского рынка. Беседа пока не выстраивалась, девушки минут пять говорили о ерунде «приличия ради», помянули душное петербургское лето, да стрекозий мор в парках и на ближних дачах, да кто в какой гимназии учится, да сколько классов осталось. Когда вертлявый официант с завитым чубом поставил на столик поднос с белым кувшинчиком и разлил дымящийся шоколад по маленьким пузатым чашкам, Оленька решилась:

— Настя, я хотела спросить вас...

Но в этот момент, к ее немалому изумлению, Настя уткнулась лицом в ладони, обтянутые тонкими нитяными перчатками, и зарыдала.

— Я должна повиниться перед вами, — ее плечи вздрогнули, из-под шляпки пружиной выскочила каштановая прядь.

— Повиниться? — Оленька выронила ложечку, и та с задорным звяком упала на пол. — За что же?

— За Петю...

Подскочил услужливый официант, поднял ложечку, положил перед блюдцем Оленьки чистую.

— Я украла вашего Петю. Чуть-чуть украла. Но вы не волнуйтесь, Оля, я уже сама себя наказала с лихвой.

Настя подняла от ладоней заплаканное лицо и взглянула на Оленьку полными жгучего страдания глазами.

— Моя история принесла мне столько горя! Но и счастья тоже...

История же была такова. Навещая могилу бабушки на кладбище, Настя Пелех увидела новый памятник на соседней аллее. Подошла ближе, вчиталась в надпись на камне. И так жаль ей стало незнакомого Петра Воскобойникова, ушедшего молодым, в девятнадцать-то лет, что стала она приходить к нему — не часто, когда выдавалось времечко, грустить и размышлять о бренности жизни. Так ходила Настя, ходила и не заметила, как влюбилась в того, кого и не знала вовсе. И пусть Ольга не тревожится, не было у нее даже в мыслях ничего «такого», и греха Петиного в том тоже нет. А запретить любить чистою душою — так ведь Бог этого не запрещает...

Оленька сидела каменная, не зная, как реагировать на Настин рассказ. Ожидались любые повороты встречи, но к такому она готова не была. И странно, что с Настей они не столкнулись на могиле, — видимо, дни посещений были разными.

— Вы не сердитесь на меня? — Настя схватила Оленькину руку и прижала к своей груди.

Оленька глотнула остывший шоколад.

— А когда вы впервые... пришли на кладбище?

— После Пасхи, — ткнулась носом в кружевной платочек Настя.

Оленька с удовольствием отметила, что история ее собственной любви к Петеньке как минимум с неделю старше.

— Вы не расскажете мне о нем? — жарко попросила Настя, не отпуская Оленькину руку.

В плетеной ивовой клетке, висевшей под потолком кофейни, заверещал лимонный кенарь, и сразу же откликнулся второй, такой же, в маленькой клетке на подоконнике. Высокие птичьи звуки стекали в фарфоровые молочники и кофейники, оседали на доньшках чашек, в конфетной вазе, отскакивали от клавиш громоздкого кассового аппарата у стойки. И так защемило на душе, что Оленька даже руки прижала к лифу платья — а ну выскочит, чего доброго, душа-негодница наружу! Еще был шанс прервать затянувшуюся паузу честным признанием, но... Но... Оленька отвела глаза.

— Он был лучшим на свете, — сами вымолвили ее губы. — Другого такого нет, хоть с фонарем по миру ходи. Добрый нравом и красавец, каких мало в Петербурге. Прохожие замирали, когда Петенька на коне проезжал. Мундир на нем всегда ладен, сапоги лаковые. С него Репин портрет хотел писать. Не успел, да... И смелый был он, Петенька. Сам Великий князь его на учениях отметил...

— Так Пётр военным был? — перебила вдруг Настя. — Я представляла его артистом...

Оленька недобро зыркнула на собеседницу и подхватила:

— А и артистом по натуре своей тонкой! Как за рояль садился, так пальцы длинные, как птицы, летали, и в гостях его всегда петь просили. Он романсов знал, наверное, сто. А может, двести. И аплодировали ему не меньше, чем Шаляпину...

Оленька творила Петеньку талантливо. Он был идеальным, без единого изъяна, без мельчайшей занозинки и загогулилки, и если крылья не шуршали у него за спиной — то лишь потому, что окружающие его люди все до единого туги на ухо и ангельских шорохов не распознают. Оленька упивалась рассказом, в особые моменты переходя почти на шепот, а когда заметила, что в одном глазу у Насти налилась крупной фасолиной слеза, тут же перешла к лирической главе:

— Любили мы друг друга безмерно...

Она попыталась вспомнить, что рассказывала подругам по гимназии, но перед глазами плыл образ дотошливой Веры Шмидт, и была опаска нарваться на «неудобные» вопросы еще и от этой Насти.

— Он мне каждый день писал с Кавказа. Письма храню бережно, перечитываю каждый вечер перед сном. И плачу, плачу...

— С Кавказа? — Настина бровь поднялась червячком. — Как же он там оказался?

Оленька выдала уже готовую и с успехом опробованную на подругах историю со ссылкой, не забыв упомянуть о чуть было не случившемся венчании, но предусмотрительно умолчав о саночках и «разврате»: что-то ей подсказывало, что с Пелех об этом толковать не следует. Когда рассказ закончился, обе они сидели минуту молча, водя пальцами по краешкам блюда, и лишь кенари в клетках херувимскими голосами резали тишину кофейни надвое. Наконец Настя выдохнула:

— А самое главное, Оля? Самое главное вы не рассказали.

Оленька нахмурилась. Да что ж может быть главнее истории ее великой любви? Вот она, Оленька, вся в ней, от шляпки до каблучков, растворилась и парит теперь, живет одной этой любовью, непроходящей и неиссякаемой. И не будет в ее жизни никакой другой!

— Вы не сказали, от чего умер Петя...

Оленька замерла на мгновение. Это ведь она сама спешила на свидание с барышней Пелех, надеясь услышать, как закончилась жизнь любимого, и почему в таком юном возрасте, и была ли надежда на спасение. В историях, скармливаемых гимназическим подружкам, Петенька был живой, здоровый и помирать никак не собирался, а писал Оленьке трогательные стихи в письмах и посылал в конвертах засушенные кавказские цветики. Она даже не успела обдумать его кончину. Для такой красивой жизни, какой Петенька жил, и для такого красавца, каким он был, и смерть должна быть красивой! И конечно же, из-за любви.

Одна за другой, как на бешеной карусели, закружились в Оленькиной голове встрепанные мысли:

«...На дуэли... Из-за ревности. Из-за того, что кто-то посмотрел на меня вожделенно... Нет, нет! О дуэли все бы знали, громкое дело было бы. Помнится, два юнкера стрелялись год назад, так во всех газетах гремело!»

«Может быть, он погиб, защищая честь царя от кавказских горцев? Нет, еще хуже, ему бы награду дали и... и...» Оленька спешно перебирала в голове версии. Настя выжидающе наблюдала за ней.

— Упал с лошади, — вдруг выпалила Оленька.

Она заметила, как легкое разочарование невесомо коснулось Настинного лица. Слез в ее глазах уже не было.

— Ох, бедняга, — вымолвила Настя и, помедлив, почему-то прибавила: — Какая вы счастливая, Оля!

— Да, счастливая, — Оленька резко встала из-за столика и, вынув из кошелька монету, положила на поднос. — Мне бежать надо. Очень, очень важные дела.

Настя тоже положила монетку на поднос и встала.

— Оля, — вдруг сказала она. — Если вам неприятно, я не буду приходить на кладбище.

— Отчего же! — Оленька обернулась и одарила собеседницу сладчайшей улыбкой. — Приходите. Раз в год. Но никак не чаще! Слышите, не чаще!

Настя кивнула, сделала шаг к двери, но Оленька уже выскочила из кофейни.

«Как же так?!» — хором чвиркнули кенари на одной ноте.

— Но любить-то, любить его вы мне не запретите! — крикнула ей вслед Настя, и прохожие с любопытством повернули в ее сторону головы.

Оленька не ответила, лишь ускорила шаг. Она летела вдоль 6-й линии, и сердечко ее стучало: «Как же так! Он мой, мой, мой!» И от этого убыстряющегося стука росла внутри непонятная тревога. Навстречу ей неспешно текла двухэтажная конка, облепленная серыми гроздьями пассажиров, конку обогнала пролетка с двумя дамами в огромных шляпах, тут и там Оленька натыкалась на телеги, бочки, горластых

лоточников, мальчишек-торговцев в красных рубахах с ящиками на головах, теток в клетчатых платках с корзинами яиц, зевак и нянюшек с детьми, и ей показалась, что все эти пестрые люди — и в конке, и в пролетке, и на улице — смотрят на нее с укоризной, осуждают, презирают.

«Не отдам!» — сквозь стиснутые зубы бросала им Оленька. — «Никому не отдам. Он мой, Петенька!»

\* \* \*

Прошло недели две. Оленька исписала несколько тетрадей под дневники, но зудящая мысль от том, что кто-нибудь когда-нибудь прочтет записи, ужаснула ее и заставила те дневники сжечь. На кладбище она по-прежнему ходила два раза в неделю и Настю Пелех больше не встречала. Но однажды, в тихий безветренный полдень, произошло событие, полностью изменившее ее дальнейшую жизнь.

Оленька стояла у могилы, привычным жестом держась одной рукой за крыло каменного ангела, а другой закрывая лицо, читала молитву вперемешку с сочиненными Петеньке письмами, как вдруг услышала совсем рядом приближающиеся шаги. Она встрепенулась, застыла, оцепенев не то от неудобного страха быть застигнутой врасплох, не то от сакрального ужаса, питаемого самим этим кладбищенским местом, и, озираясь, метнулась к аллее.

— Пойдите, барышня! — окликнули ее сразу в два голоса.

Оленька, бледнее и чувствуя, как подкашиваются ноги, обернулась.

На аллее стояла пожилая пара: невысокий сухонький мужчина в старомодном сюртуке, немного потертом на отворотах рукавов, и полная рябая женщина в шерстяном дорожном платье с соломенной шляпой, висевшей на узкой ленте на сгибе ее локтя, как корзинка.

— Вы нас извините, барышня, — голос женщины был мягким, сахаристо-плотным, как яблочная пастила, и таким виноватым, что Оленьке показалось: сейчас попросят денег.

Но дама ничего не просила, лишь повернулась к мужчине с надеждой, что тот поможет вывернуть на нужную реплику.

— Да, — тут же неуклюже подхватил ее спутник. — Мы вас наблюдаем, в некотором роде... Уже пару раз, хотя сами не часто, знаете ли-с... Мы в пригороде живем... А на Смоленском семейное погребение у нас... Да что вы так испугались?

И сам сконфузился, с надеждой посмотрел на женщину.

— Родители мы, — переняла инициативу дама. — Воскобойниковы.

Сердце у Оленьки упало куда-то в живот и зажгло там невыносимым игольчатым огнем. Первая мысль была — «бежать», вторая — «бежать быстро», третья — «дура, дура, дура!». Тем временем мадам Воскобойникова торопливо продолжила:

— Позвольте вас спросить, как вы познакомились с нашим сыном?

Оленька стояла ни жива ни мертва, и что-то ей подсказывало: не говори ни слова.

— Он ведь мало выходил последний год, — супруги приблизились к Оленьке почти вплотную. Огонь в ее животе обернулся льдом. — Петруша нам о вас не рассказывал.

— Ах, Машенька, ей-богу, ну что ты пугаешь так барышню! — подал голос господин Воскобойников и улыбнулся ей, обнажив ряд редких зубов. — На ней и так лица нет. Вероятно, он репетиторствовал вам?

Оленька сглотнула и, облизав высохшие губы, кивнула.

— Биология была его великой страстью, да, — снова вступила «Машенька». — Мы, право, не всех его учеников знали, только тех, кто на дом приходил. А городских, как вы, мало было... Но вот вы одна и навещаете могилку, единственная, никто из них о нем и не помнит...

Она вытащила из корсета платок и промокнула слезу. Оленька перевела дух и пролепетала что-то, подобающее ситуации. Помнит.. Скорбит... Вечная память...

Воскобойниковы синхронно кивали, потом, помолчав, «Машенька» сказала:

— Вы приезжайте к нам. Чаю попьем. Петрушу помянем. Комнату мы его оставили как есть, ничего не тронули. Даже коллекцию жуков, все как при нем. Вы тоже любите жуков?

Оленька жуков ненавидела, но снова кивнула.

Втроем они дошли до ворот кладбища. Разговор вела в основном «Машенька», оказавшаяся Марией Васильевной. Илья Андреич, ее супруг, лишь изредка бросал кургузые фразы, тряс пегими прядями в знак одобрения сказанного и, когда уже прощались, вынул из кармана листок с адресом их дома на Большой Охте.

«Разоблачат!» — подумала было Оленька, но желание разузнать о Петеньке перебороло все возможные страхи, и она тихо выдохнула:

— Я приеду.

Улизнуть из дома на целое воскресенье получилось на удивление легко. Матушка была в отъезде, нянюшка тоже — как раз навещала собственных внуков в деревне, а папенька не особо вдавался в причину поездки: какой-то там у дочери благотворительный визит к родителям соученицы, кажется. Он только наказал взять в дорогу немецкие пилюли, чтобы не растрясло, нанял экипаж до Охтинской слободы и велел возвращаться к ужину.

Дом Воскобойниковых оказался деревянным, сутулым, выкрашенным только с одной стороны дешевой голубой краской, местами облупившейся. Наличники, когда-то белые, теперь свисали нечистым серым кружевом, маленькое чердачное окно сиротливо и подслеповато вглядывалось в размытую недавними дождями дорогу, а редкая неровная черепица напоминала чешую большой рыбы, которую хозяйка взяла было чистить, да и бросила. Колокольчика на двери не было, и Оленьке пришлось долго стучать, пока не послышалось ржавое говорение замка и на свет божий, шурясь земляным кротом, не выползла столетняя морщинистая прислуга в каком-то допотопном гоголевском чепце и белом балахоне, напоминавшем ночную сорочку.

Не так, ах, не так Оленька представляла себе Петенькин дом! Да и не таких родителей. Илья Андреич, бывший чиновник почтового ведомства, его жена Мария Васильевна были людьми, возможно, хорошими, но в блестящую Оленькину легенду никоим образом не вписывались. Как не вписывался и сам реальный Петенька, их любимый взлелеянный сын, за надгробный памятник которому Воскобойниковы продали двор в Сусанинской мызе.

Чинно пили чай с ватрушками. Мария Васильевна все хвалила сына, говорила, что мог бы поступить на биологический факультет университета, да на «казенный кошт», кабы не тяжелая сахарная болезнь, лечение которой не помогло, хоть мальчика и наблюдал лучший столичный доктор с тяжелой еврейской фамилией, светило в области диабета. Оленьке были предъявлены поочередно Петенькины детские каракульки, гимназические наброски — в основном насекомых, и целый арсенал коробочек с жуками, отчего ее пару раз даже замутило. Она сидела потухшая, уставившись в незамысловатый рисунок на скатерти под самоваром, и отчего-то совсем не удивилась, когда с фотографии, любовно сунутой ей под нос, на нее испуганным тюленем взглянул юноша с одутловатым лицом и маленькими болезненными зверьками-глазками под нелепыми круглыми, как полумесяц, мохнатыми бровками.

— Такой красивый мальчик! — лепетала Марья Васильевна, подливая Оленьке чаю. — Удачная карточка, не видно оспинок, заретушированы.

Оленька улыбалась, соглашаясь со всем, что говорили Воскобойниковы. Да, чудесный мальчик. Да, умный. Да, такого нынче не встретишь. И да, если б не его репетиторство, выгнали бы Оленьку из гимназии.



— Вы, милая, позвольте спросить... — смущаясь, прошептала Мария Васильевна, когда Илья Андреич вышел ненадолго из комнаты, — небось, влюблены были в Петрушу? Ну, как ученица в учителя, бывает такое, бывает, я и сама, знаете ли, в гимназические годы... А вы такая романтичная особа...

Оленька вся внутри вспыхнула — не от конфузного прямого вопроса, нет, — от возмущения. Но взглянув на Марию Васильевну, на ее руки в кошачьих царапках и клетчатое домашнее платье, на похожую на нее толстощекую бабу в платке на самоварном чайнике, на потемневшие ходики со скрипучей кукушкой и закоптелую грушу масляной лампы на столике, — не нашла в себе сил ничего отрицать. Просто молча кивнула.

Мария Васильевна засияла, крикнула прислуге нести из погреба моченые яблоки и сбитень, но Оленька решительно мотнула головой: пора ехать.

— Вы навещайте нас, — тронул козырек пролетки Илья Андреич, когда кучер уже причмокнул и лошадь подалась вперед, — чай попьем, Петрушу повспоминаем. Не чужие ведь, да.

— Непременно, — сцедила улыбку Оленька и, как только дом исчез за поворотом, с облегчением вдавила спину в жесткую экипажную подушку.

Дорога до дома показалась особенно долгой. Ощущая подкожную маяту неуютного, чавкающего где-то внутри стыда, Оленька размышляла о том, что с ней происходило за последние полгода. Был Петенька. И нет теперь Петеньки. Лишь возгоралась дымно и копотно глухая обида на жизнь за то, что ее, Оленьку, обокрали — обокрали так обыденно, так легко, как обкрадывает дебелую кухарку малолетний карманник. Увели Петеньку, вынули из души, из сердечка, осталась рваная карманная дырка: пощупай ее, и не найдешь целкового, лишь пара грошей за подкладкой. Чувство великого обмана, как эта самая подкладочная мелочь — сдача на разменный рубль великой любви, — побрякивало у самого горла, тряслось с Оленькой в жесткой пролетке до самого Васильевского острова. И от этого на душе делалось так паскудно, что хотелось выть в полный голос. И только гроздь желтогрудых птичек в придорожных кустах вторили колесному скрипу: «Как же так, как же так?!»

\* \* \*

Спустя неделю Оленька купила в лавке конверт с нарисованными легким росчерком голубем и голубкой, бумагу верже и написала барышне Пелех письмо, в котором разрешила любить Петеньку, — более того, убеждала ее, что была бы искренне этому рада, потому что Петеньке там, где он сейчас находится, лишняя любовь не повредит, а только в благость пойдет. Первый черновик письма с выскочившим нечаянно постскриптумом «Берите его себе» Оленька благоразумно сожгла.

Через несколько дней она получила от Насти ответный конвертик с похожими голубями, в котором та искренне благодарила Оленьку, восхищалась широтой ее души и заверяла, что отныне жизнь ее сделалась полной, осмысленной и даже счастливой. К письму прилагалась фотографическая открытка с Шаляпиным в «Юдифи» и припиской: «Пётр как будто был со мною сегодня в опере».

Больше Оленька писем от Пелех не получала и не писала ей сама.

Через три года, в августе шестнадцатого, она случайно встретила Настю на ялтинском прогулочном пароходе. Настя не сразу узнала Оленьку, а как узнала — бросилась к ней, как к близкой подруге. И по-девчоночьи взхлеб, перебивая друг друга, они долго вспоминали и свои гимназии, и Петроград, и родной Васильевский остров, и какие-то не прожитые вместе мелочи. Лишь о Петеньке не обмолвились ни словечком.

И не было в тот день на пароходе пичуги, которая так кстати пропела бы в ухо: «Как же так?!»